

Г. С. Кнабе

«MULTI BONIQUE» И «PAUCI ET VALIDI» В РИМСКОМ СЕНАТЕ ЭПОХИ НЕРОНА И ФЛАВИЕВ

1. РАЗДЕЛЕНИЕ СЕНАТА. МЕНЬШИНСТВО И БОЛЬШИНСТВО

РИМСКИЙ сенат второй половины I в. н. э. предстает в источниках как «арена взаимных нападков и раздоров» (Тас., Hist. IV, 10), где «каждый за себя, с нестройным и беспорядочным криком, привлекая к ответу своих недругов и добивался их наказания» (Plin., Ep. IX, 13, 4). Борьба носила крайне ожесточенный характер и обычно оканчивалась политической или физической смертью побежденного¹. Она была настолько упорной и длительной, что современники говорили о подлинном разделении сената, при котором «на одной стороне было состоявшее из частных людей большинство (multi bonique), на другой — располагающее властью меньшинство (pauci et validi)» (Тас., Hist. IV, 43).

Общий исторический смысл этих конфликтов известен: перед нами эпизоды борьбы императорской власти и новых социальных слоев, ее поддерживающих, с сенатской аристократией, связанной с республиканскими традициями. При всей обоснованности такого объяснения нельзя, однако, не заметить, что распределение сенаторов по враждующим группировкам на основании непосредственно социальных и политических критериев наталкивается на ряд трудностей.

Прежде всего, сенат в эту пору был фактически отстранен от рассмотрения важных государственных вопросов, так что поводов для принципиальной борьбы на заседаниях вообще было немного². Не удается обнаружить в разделении сената и прямое социально-экономическое содержание: и в ту, и другую группу входили исконные римляне³, италики⁴

¹ Например, в 66 г. — самоубийство Тразев Пета после выступления против него в сенате Капитона Коссудяна (Тас., Ann. XVI, 21 сл.); в 69 г. — осуждение Анния Фавста по обвинению, выдвинутому Вибием Криспом (Hist. II, 10), в 93 г. — устранение из политической жизни Бебия Массы, после того как против него выступили в сенате Геренний Сенецион и Плиний Секунд (Plin., Ep. VII, 33). Такого рода примеры могут быть значительно умножены.

² За годы правления Домициана известен лишь один сенатусконсулт (Dig. 40, 16, 1). Чаще всего упоминаются в источниках заседания, посвященные присвоению почестей императорам или их ставленникам (Тас., Hist. I, 19; 47; 78; II, 55; 90; IV, 3; 4; 39; Suet., Galba 23; Tit. 11; Dom. 13; 14; Plin., Paneg. 52; Dio Cass., 67, 4; SCL, 2064). Плутарх (в биографиях Гальбы и Отона) и Светоний при описании важнейших государственных событий почти никогда не говорят о сенате. Плиний (Ep. VIII, 14) рассказывает о «безмолвии и трепете», царивших в сенате при Флавиях.

³ Фабриций Вейнтон и Антистий Вет.

⁴ Отон и Вергиний Руф.

и провинциалы ⁵, отпрыски древних семей ⁶ и *homines novi* ⁷, владельцы родовых поместий ⁸ и крупные предприниматели-наториши ⁹, люди сказочно богатые ¹⁰ и такие, чье имущественное положение никак не привлекло внимание современников.

Не всегда и не во всем оправдывает себя и чисто политическое объяснение. Разумеется, были вопросы — не столько, правда, собственно политические, сколько государственно-конституционные, — по которым расхождение обеих групп обнаруживалось довольно четко. Сюда относился ставший при Флавиях вопросом вопросов порядок престолонаследования. «Мне будет наследовать мой сын или никто» — утверждал Веспасиан (*Dio Cass.*, 65, 12, 1), и у нас есть основания думать, что люди «меньшинства» активно помогали ему отстаивать этот принцип. «Глава государства будет усыновлять наиболее достойного», считали другие (*Tac., Hist.* I, 16) и «большинство» поддерживало их, ибо все понимали, что «наиболее достойный» должен выдвигаться из среды сената и сенатом. К числу таких же вопросов относилось участие сената в определении финансовой или идеологической политики (*Tac., Hist.* IV, 9; ср. также ниже, стр. 72). И тем не менее, у нас нет оснований считать политический критерий исчерпывающим прежде всего потому, что материал источников не подтверждает представления, будто люди «всевластного меньшинства» — это сторонники принципата, а люди «большинства» — его противники, или что первые — это доносчики императора либо его *amici*, а вторые — их жертвы или опальные оппозиционеры.

Всевластные и довереннейшие Эприй Марцелл и Арредин Клемент были уничтожены за злоумышление против императора точно так же, как подозрительные принцепсам Юний Блез или Домиций Корбулон, хотя и те и другие истово служили своим государям и отнюдь не были республиканцами. Друг и чуть ли не соправитель Веспасиана Лициний Муциан, действительно, противодействовал большинству сената (*Tac., Hist.* IV, 44), а иногда и расправлялся с его представителями самыми крутыми мерами (там же, 11), но к числу друзей Флавиев относились также Ацилий Глабрион, Пегас или Юлий Урс, не бывшие ни противниками, ни гонителями сенатского большинства, а среди друзей Нерона числились даже Сенека и Кальпурний Пизон, связанные с оппозицией и антиимператорскими заговорами. Что касается доносительства, то, во-первых, в числе людей сенатского меньшинства наряду со знаменитыми доносчиками (Аквиллий Регул, Эприй Марцелл, Метий Кар и т. п.) отмечается немало людей, о деятельности которых в этой области ничего не слышно (Клувий Руф, Антоний Прим и др.). Главное же состоит в том, что доносительство было в эту пору массовым явлением, распространенным и среди широких слоев населения ¹¹, и в сенате ¹² — и само по себе не могло никого вознести на вершину государственной власти.

Итак, противоположность меньшинства и большинства сената в эпоху Нерона и Флавиев трудно свести к прямому противопоставлению политических лозунгов или социальных программ. Целесообразно поэтому обра-

⁵ Эприй Марцелл и Геренний Сенецпон.

⁶ Тит Виний и Гай Кассий Лонгин.

⁷ Вибий Крисп и Гельвидий Приск.

⁸ Казненный Нероном Рубеллий Плавт и гроза сената при Домициане Катулл Мессалин.

⁹ Гн. Домиций Аффр (*CIL*, XV, 979—986) и Геренний Поллион (там же, 1179—1182).

¹⁰ Гней Домиций Тулл или Аквиллий Регул и Сервий Гальба или Юний Блез.

¹¹ *Plin.*, *Ep.* VI, 31, 3; X, 58—69; 81—82; *Paneg.* 42; *Tac.*, *Hist.* I, 2; *Suet.*, *Tib.* 59, *Tit.* 8; *Sen.*, *De benef.* III, 26; *Plut.*, *Galba* 8; *Mart.*, *Spect.* 5; *Juv.* IV, 45 сл.

¹² *Tac.*, *Hist.* IV, 41; *Plin.*, *Paneg.* 41—42.

тить внимание также и на материал иного характера: люди большинства и люди меньшинства непосредственно выступают в источниках как два резко различных типа личности, воплощающих — что прежде всего бросается в глаза — два противоположных вида нравственного сознания, два различных эмоциональных подхода к действительности, две взаимоисключающих шкалы духовных ценностей. При исследовании сенатских группировок характеристика подобных типов личности обычно используется лишь как иллюстративный материал. Между тем есть основания рассматривать их и сами по себе как важный источник для понимания существа данного конфликта и данной эпохи в целом. Речь не идет, разумеется, о том, чтобы исследовать противоположность человеческих типов вместо изучения противоположностей социально-политических; но характер разбираемой ситуации делает необходимым анализ тех нравственных, эмоциональных, психологических расхождений, которые составляют непосредственную *форму* конфликта, в конечном счете идеологического, политического или социального.

История реально существует в людях. Историческая закономерность — не действующая автоматически абстрактная сила; она имеет свое непосредственное бытие в индивидах, в их труде и борьбе, их взглядах и поступках, в передаче этими конкретными живыми людьми от поколения к поколению накопленных материальных ценностей и духовного опыта. «В истории общества, — писал Ф. Энгельс, — действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к определенным целям, здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели»¹³. Соответственно и исторические противоречия и конфликты существуют в столкновениях этих конкретных живых людей, их страстей, убеждений и интересов, их привязанностей и антипатий. Сознание и страсть, воля и фантазия, любовь и ненависть¹⁴, направленные на достижение общественной цели и преломленные в конкретной, исторически и социально определенной человеческой судьбе, и образуют характерный для данного времени общественно значимый тип личности. Он представляет собой конкретную форму, в которой осуществляется взаимодействие устойчивых объективных факторов исторического поведения: он обусловлен в конечном счете социально-классовой принадлежностью, он связан с идейно-политической позицией, но прямо и непосредственно и та, и другая выражаются в общественных реакциях, в привязанностях и отвращениях, в вкусах и привычках, т. е. в типе человека.

Все это приобретает особое значение в истории древнего Рима, где политические группировки и конфликты не отделялись до конца от родовых, семейных, личных союзов и противоречий и где поэтому значительно определеннее чем в другие эпохи социально-политические отношения выступали как изнанка отношений эмоциональных и личных. Такой склад общественной жизни находит себе выражение, в частности, в характерной двусмысленности римской политической терминологии, нередко строящейся на использовании нравственных понятий: *antiqua virtus* и *nova flagitia* у Катона Старшего, *audaces* и *boni* у Цицерона, *mos maiorum* и *pietas* в эпоху Августа, *concordia* и *discordia* у Тацита.

Тип человека может быть в разной степени показателем для тех или иных периодов римской истории. Иногда он отступает на задний план перед откровенно и очевидно социально-политическими союзами и конфликтами (как в последние десятилетия Республики), иногда он как бы иллюстри-

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 306.

¹⁴ См. В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 41, стр. 80—81.

рует явления, историческое содержание которых может быть уловлено и без него (как в начале II в. до н.э. или при Гракхах). В эпоху Нерона и Флавиев общественно-исторические процессы, протекающие в верхних слоях римского рабовладельческого общества, находят себе наиболее отчетливое выражение именно в нем.

2. ЛЮДИ МЕНЬШИНСТВА. PROMPTUS, CALLIDUS, AUDAX

Этими тремя словами, которыми Тацит характеризует всесильного хозяина города и сената при Гальбе Тита Виния¹⁵, определяется главное в типе сенатора меньшинства в целом¹⁶.

Promptus имеет ряд значений, которые, однако, все производны от исходного представления о внутренней энергии, проявляющейся в немедленной реакции на каждый внешний импульс. Антоний Прим, например, смог в начале 70 г. стать полновластным господином в сенате и во всем Риме прежде всего благодаря своей неумной энергии, постоянно сжигавшей его жажде деятельности, готовности в любом положении бороться и всегда до победы. При Нероне алчность заводит его в преступление, и он изгоняется из курии; стоило возникнуть гальбанскому движению, Антоний уже на стороне нового императора, уже командует у него легионом, но, спедаемый честолюбием, стремится выше и тут же предлагает свои услуги Отону, а отвергнутый им, возглавляет восстание паннонских легионов, которые фактически и привели к власти династию Флавиев. Кампания, проведенная Антонием осенью 69 г., беспрецедентна даже в истории римского военного искусства, а поведение в ней полководца, выработавшего и осуществившего блестящий план действий, сумевшего разгромить во много раз превосходящую армию Вителлия, лично, как простой солдат, участвовавшего в боях, одновременно переписывавшегося с Веспасианом, интриговавшего против Муциана, сравнимо разве что с поведением Цезаря или молодого Октавиана — этих эталонов *promptitudinis*.

Энергия, талант и работоспособность отличают сенаторов меньшинства и как магистратов. Отношение Тацита к этим людям сложное, но в конечном счете безусловно отрицательное; тем более показательны, что в «Истории», почти о каждом из них — о Тите Винии (I, 48), об Отоне (I, 13), о Муциане (I, 10; II, 5), даже о Луции Вителлии (III, 77) — он отзывается как о прекрасном администраторе. Беспрецедентный¹⁷ трехлетний проконсулат Эприя Марцелла в Азии представлял собой в административной сфере примерно то же, что поход Антония Прима в сфере военной; после него провинция на много лет становится одной из самых цветущих областей Империи. В глазах римлян талант человека к государственной деятельности был неотделим от его одаренности и успехов в области красноречия. С этой точки зрения показательны, что среди десяти крупнейших ораторов Домицианова времени¹⁸ восемь относились к сенатскому меньшинству¹⁹.

¹⁵ Tac., Hist., I, 48. У Тацита порядок иной: *audax, callidus, promptus*.

¹⁶ Характеризуя типы личности сенаторов на основании данных Тацита, Светония, Плиния и т. д., мы не останавливаемся в каждом случае на критике и проверке этих данных, потому что они составляют часть определенной традиции, объективное содержание которой анализируется на протяжении работы.

¹⁷ Шестилетний проконсулат П. Петрония при Тиберии объясняется особыми причинами — то была скорее ссылка, чем наместничество.

¹⁸ Их список составлен Саймом на основе известного перечня мастеров красноречия у Квинтилиана (XII, 10, 11) — R. S u m e, Tacitus, II, Oxf., 1958, app. 26.

¹⁹ Галерий Трахал, Вибий Крисп, Фабриций Вейнтон, Катулл Мессалин, Аквиллий Регул, Пакций Африкан, Гн. Помпей Катулл, Силий Италик.

В этом списке не числятся сошедшие с политической арены еще при Веспасиане Эприй Марцелл, Лициний Муциан и Антоний Прим — все трое входили в состав меньшинства, и все трое были выдающимися ораторами (Тас., Dial. 5 и 13; Hist. II, 80; III, 10).

Помимо энергии и броской талантливости, слово *promptus* предполагает быстроту реакции в опасный момент. Такие моменты возникали в жизни сенаторов меньшинства всякий раз, когда нетерпеливое стремление к власти, алчность и артистическое увлечение риском ради риска²⁰ ставили их на грань катастрофы. Тит Виний сидел в тюрьме, дважды попадал в опалу, из каждой такой переделки выходил с повышением и погиб, скорее всего, по недоразумению. Фабриций Вейнтон любил играть с огнем, издеваясь над Нероном, другом которого числился; другим это стоило жизни, Вейнтону — ссылки, создавшей ему ореол жертвы тирании, за счет которого он при Флавиях вновь вошел в ряды «всевластного меньшинства». После убийства Домициана все его приближенные оказались не у дел, за исключением опять-таки Вейнтона, при Нерве еще умножившего свое могущество, несмотря на откровенную ненависть к нему друзей императора (Plin., Ep. IV, 22). Сходные эпизоды можно было бы привести из жизни Отона (Suet., Otho, 3), молодого Нервы²¹, Эприя Марцелла (Тас., Ann. XIII, 33), Аквиллия Регула (Тас., Hist. IV, 42; Plin., Ep. I, 5, 8 сл.) и многих других.

Callidus означает у Тацита тщеславный, темпераментный, горячий, несдержанный, неразборчивый в средствах²². Хищное честолюбие, алчность, плотоядная любовь к жизни, готовность на все ради удовлетворения своих страстей и вожделений — такая же характерная черта сенаторов меньшинства, как их таланты, энергия и изворотливость.

В массе то были люди *cupiditatis immensae* (Suet., Galba, 14, 2): Тит Виний оставил своим наследникам столь фантастические суммы, что завещание его было признано недействительным (Тас., Hist., I, 48), Вибий Крисп был богаче чуть ли не всех своих современников (Schol. Juv., IV, 84; ср. Mart., IV, 54). Муциан из личных средств мог покрывать расходы на гражданскую войну (Тас., Hist. II, 84). Для них характерно не столько богатство (богачи, как говорилось, были, и среди людей другого лагеря), сколько методы его приобретения — вымогательство завещаний (Plin., Ep. II, 20), баснословные гонорары (а фактически взятки) за судебное заступничество (Тас., Ann. XI, 5), в военное время обыкновенный грабеж (Тас., Hist. I., 66; II, 56) и в любое время доносы²³. Жажда почестей была в них еще сильнее, чем жажда денег. Тацит во многих местах своих сочинений говорит о неутолимом честолюбии Муциана, о столь же ненасытном, сколь бессмысленном, тщеславии Антония Прима. Эприй Марцелл на протяжении нескольких лет получил экстраординарный проконсулат, второе консульство и патрициат, но ему и этого было мало — он стремился еще выше, составил заговор против Веспасиана и погиб.

Деньги и почести влекли их прежде всего как средство урвать у жизни максимум чувственных наслаждений. Древние авторы в один голос говорят о *flagrantissimae libidines* Отона²⁴; из двух временщиков Вителлия один — Валент, просах *moribus* (Тас., Hist. III, 62), «стремился к противо-

²⁰ Такой типичный человек меньшинства, как Корнелий Фуск, «опасности любил больше чем блага, приобретаемые их ценой, рискованные меры предпочитал испытанным и верным» (Тас., Hist., II, 86).

²¹ См. A. Garzetti, Nerva, Roma, 1950, стр. 22—23.

²² A. Gerber, A. Greef, Lexicon Taciteum, I—II, Hildesheim, 1962 s. v.

²³ Если обвинение признавалось обоснованным, доносчик получал часть имущества осужденного; Регул получил за донос на Орфита и Красса 7 млн. сестерцев, Марцелл за донос на Тразею — 5 млн.

²⁴ Тас., Hist. II, 31; ср. Suet., Oth. 2—3; Plut., Galba, 21.

естественным наслаждениям» (там же, 41), другой, Цецина, «растратил в оргиях все свои силы» (там же, II, 99). Пришедший им на смену Лициний Муциан был из «других людей, но с теми же правами» (там же, 95; ср. 1, 10). Регул предавался духовному разврату (Plin., Ep. IV, 2; 7), так же как Криспин телесному (Juv., IV, 1—33).

Жизнелюбие, столь характерное для представителей сенатского меньшинства, утверждало в человеке способность брать от действительности максимум радостей и благ, которые она может дать *здесь и сейчас*. Упоение настоящим, которое уже в силу того, что оно настоящее, т. е. сейчас во мне текущая живая жизнь, неизмеримо выше и ценнее любого, пусть самого героического прошлого, — одна из важнейших черт в людях меньшинства. Эприю Марцеллу принадлежало теоретическое и психологическое обоснование подобного отношения к действительности (Tac., Hist., IV, 7—8). Марциал знал, что делал, когда именно Аквиллию Регулу посвятил эпиграмму (V, 10), осуждающую ревнителей старины, не ценящих все величие современности. Отон демонстративно игнорировал древние религиозные обычаи (Tac., Hist., I, 89). Цецина столь же демонстративно ставил современную ему моду выше древних привычек в области быта (там же, II, 20). Сын консулярия Пальфурий Сура, издеваясь над традиционными римскими представлениями о приличном и допустимом, публично выступал как атлет и перед тысячами зрителей цирка боролся с женщиной (Schol. Juv., IV, 53). Презентизм людей меньшинства определяет их особое место в римской политической и культурной традиции, всегда ориентировавшейся как на высшую ценность на старину и заветы предков.

Audax. По своему общему смыслу слово это означает склонность и готовность к переменам, к поруганию традиции, неуважение к исторически сложившемуся и освященному временем миропорядку, к *fas* и *jus*.

Свойство это присуще людям меньшинства в повседневных проявлениях, в которых оно граничит с обыкновенной наглостью. Тит Виний украд на пиру у императора драгоценный кубок (Tac., Hist. I, 48; Plut., Galba, 12). Вибий Крисп говорил двусмысленные дерзости о Домициане, сидя перед его дверью и принимая его посетителей (Suet., Dom. 3.). Отон вступил в связь с Поппеей, когда ей предстояло стать женой Нерона (Suet., Otho 3; Plut., Galba 19). Временщики Вителлия Фабий Валент и Цецина Алиен на глазах принцепса захватывали его богатства (Tac., Hist., II, 92). Яростные противники *moris maiorum*, традиционных норм общественной жизни и их носителей, сенаторы меньшинства не отделяли, однако, эту личную темпераментную наглость от своей общественной позиции. При Нероне, например, Аквиллий Регул погубил своими доносами аристократа М. Лициния Красса Фруги, а во время восстания Отона нанял убийц, которые принесли бы ему голову Пизона Лициниана. Лициниан был только что назначен наследником и соправителем Гальбы, так что действия Регула — неронианца и, следовательно, врага Гальбы — были выражением его политической позиции, но Лициниан был братом Красса, и, добиваясь его смерти, Регул просто избавлялся от угрозы возмездия. Когда Лициниан был убит и Регулу принесли его голову, он, по рассказам, впился в нее зубами — жест, в котором политическая страсть, бешеный темперамент и нарочитая *audacia* сплелись в один клубок (Tac., Hist., IV, 42). Этого мало. Когда вдова Пизона, Верания, тяжело заболела, Регул явился к ней, чтобы добиться включения своего имени в список ее наследников (Plin., Ep. II, 20, 2—6). Та же сотканная из личных и политических мотивов *audacia* отличает поведение Отона, поднявшего руку на своего законного императора Гальбу, или Муциана, который, будучи частным лицом, обратился с письмом к сенату (Tac., Hist. IV, 4).

Audacia этих людей вытекала из самого их положения членов «всевластного меньшинства» сената, использовавшихся императорами для борьбы с сенатским большинством, воплощавшим консервативную политическую и культурную традицию. Их общественное и частное поведение, специфические черты их личности, весь их облик шли вразрез с основанным на этой традиции, на *mos maiorum* и *pietas*, официально идеализованным строем римской жизни. Римское общество было строго сословным — среди них многие пробивались в высшие сферы из глухих социальных низов. Высшим органом государственной власти был и номинально оставался сенат — они его презирали и призывали к ликвидации всего сенатского сословия (Тас., *Hist.* IV, 42). «Стремиться к обогащению считается недостойным сенатора», — писал Тит Ливий (XXI, 53), и императоры с их законами против роскоши старались сохранить за этим утверждением роль определенной моральной нормы — люди меньшинства видели в обогащении весь смысл своей жизни.

Нравственно-психологический комплекс *promptus — callidus — audax* не только характеризовал тех или иных людей в составе римского сената эпохи Нерона и Флавиев, но и включал их в определенную политическую и нравственную традицию — в традицию *audacium*, в которой видели своих врагов еще Катон Старший²⁵, Цицерон²⁶, Саллюстий (Cat. 5—14). В интересующую нас эпоху, однако, этот постоянный в римской истории тип буйного и циничного сенатора *nova molientis* приобретает особый характер и смысл. Если для Катона люди этого склада были вполне реальны и единичны, то уже у Саллюстия Катилина не только конкретный *audax animus* человек, но также воплощение и символ издавна зреющих разрушительных сил истории, и это перерастание им рамок своей эмпирической личности приводит к появлению в нем сверхчеловеческих, демонических черт. Он «выступает против законов божеских и человеческих» (Cat. 15), его «ненасытная душа стремится к недостижимому и невероятному» (там же, 5) и т. д. Ко времени Нерона и Флавиев эта тенденция достигает высшей точки. Образ человека неукротимой энергии и страстей, рвущегося к переустройству мира, губящего добро и старину, окончательно выходит за рамки чисто политической сферы и в обобщенном, гиперболизированном виде выдвигается в центр художественной литературы эпохи. Он отчетливо связан с политической традицией *audacium*, но в то же время представляет ее в преображенном виде — утратившей свои реальные политические черты и слившийся с представлением о некоторой постоянно действующей в истории демонической разрушительной стихии.

Каково реальное историческое содержание этого представления?

Для Цицерона²⁷, для Саллюстия (Cat., 17; Jug. 31), даже еще для Веллея Патеркула²⁸ *audaces* — это, прежде всего, буйные аристократы. В литературе второй половины I в. н. э. тип *audax — callidus — promptus* накрепко соединяется с идеей неограниченной личности власти, с императором как ее средоточием, с новыми людьми, которых Империя вызвала к жизни и на которых она опирается. В «Фарсалии» Лукана Юлий Цезарь, воплощающий принцип и практику Империи, противопоставляется Помпею именно как человек неукротимой энергии и честолюбия (V, 660—671 et passim), как развратник и наглец (X, 73—81), который ничего не боится, не жалеет и не стыдится (I, 145). При этом Лукан не скрывал, что, описывая Цезаря и его правление, он имел в виду свое время и импе-

²⁵ Plu t., Cato Maior 16—17; 27; Liv. XXXIX, 43—44; Aul. Gell., Noct. Att. V, 6; XVIII, 9.

²⁶ Ch. W i r s z u b s k i, *Audaces. A Study in Political Phraseology*, JRS, 51 (1961).

²⁷ Cic., In Cat. I, 1—2; II, 5, 10; III, 10, 24; Pro Mil. III, 8.

²⁸ Vell. Pat., II, 6; 41; 45; 48; 60; 83; 87.

раторский строй в целом²⁹. В образе Юлия Цезаря, другими словами, он сосредоточил в гиперболизированном виде черты, характеризовавшие в сознании времени эпоху Империи и человека Империи в их противопоставлении людям и нравам иного, уходящего в прошлое типа, и этот образ по основным своим свойствам совпал с образом описанных выше сенаторов меньшинства. Нетрудно показать, что теми же чертами обладают и другие герои литературы I в., представляющие талантливых и хищных властолюбцев и что черты эти порождены не объективными особенностями исторических прототипов, а окружающей автора действительностью; современность I в., нравы императоров этой поры и их приближенных отчетливо видны в образе Александра у Курция Руфа (III, 12, 19—20), Ганнибала у Силия Италика³⁰, в теме «гнева» у Сенеки³¹ и т. д.

С самого начала Империи складывается и до времени Флавиев неуклонно нарастает отношение к этому типу человека, с одной стороны, как к символу новизны, исторического динамизма, социально-политического и экономического прогресса, с другой, — как к воплощению зла. Для Силия Италика в основе Пунических войн лежит столкновение консервативной нравственности, благородной суровой бедности и pietas (одно из самых ярких мест — Pun. I, 598—606), воплощенных в древнем патриархальном Риме, с хищным своекорыстием, предпринимательским динамизмом, ненасытностью и impietas, связанными с Карфагеном (ср. II, 493—506). Силий понимает и показывает, однако, что это противоречие не столько этническое, сколько социальное и общеисторическое: патриархально добродетельная застойность характерна для Рима, но в свое время она была присуща и Карфагену (II, 405 слл., ср. XI, 584—600), и как в Карфагене она уничтожается людьми, вроде Ганнибала, так и в Риме есть свои Ганнибалы — прежде всего Фламиний и Варрон, представляющие распад былой аристократической республики и успехи nova flagitia. Особенно характерен Варрон — нечестивец, ни в грош не ставящий заветы богов и предков (IX, 7), ярый ненавистник сената, его традиций и привилегий (VIII, 251 и 266), богат, собственной алчной энергией стяжавший себе огромное состояние (VIII, 246—250). В свете всего сказанного выше переклички этого образа с людьми, на которых опирались последние Юлии-Клавдии и Флавиусы, очевидны. Его «карфагенская» сущность — надругательство над традицией, безбожие, новизна, личная инициатива и стяжательство — раскрывается как свойство всякого развития и исторического новшества, в том числе и нового Рима: не случайно в пророческом видении Сципиона Ганнибал оказывается в одном ряду с Марием, Суллой и Цезарем³².

В эту же галерею типов входит и Медея Сенеки. Мифологический, предельно обобщенный характер образа приводит к тому, что в нем яснее чем во многих других подобных сказывается исходное содержание всего этого типа. В отличие от Медей Еврипида Медея Сенеки связана не столько с темой варварства, сколько с темой аргонавтов, выражает сущность их похода, как бы порождена им (Med., 425—428). Смысл же этого похода со-

²⁹ См. L u c., Phars., V, 385; VII, 642—646; 695—696; IX, 596; S u e t., De poet. Lucan.; T a c., Ann. XV, 70; ср. Ф. А. П е т р о в с к и й. Марк Анней Лукан и его время, в кн. М. А н н е й Л у к а н, Фарсалия, М.—Л., 1951, стр. 266.

³⁰ S i l., Punica II, 700—701; III, 580—581; VIII, 471—472; 591—592; XVII, 282; ср. также I, 319—320.

³¹ То, что Сенека говорит в своем трактате «De ira» о продиктованных гневом несправедливых наказаниях, откровенно перекликается с террористическими эксцессами первых принцевов (ср. I, 16; II, 6). Цезарь назван Сенекой прямо (I, 16), Калигула почти прямо (ср. приводимый в I, 16 стих Акция с S u e t., Gai. 30), Тиберий — в слегка завуалированной форме (I, 4).

³² S i l., Pun. XIII, 850—873. Прообраз Цезарей видел в Ганнибале и Сенека (De ira, II, 5).

стоит в том, что он нарушил высшую нравственную и общественную ценность — неподвижность патриархального существования (367—379), бросил людей в чужие моря, заставил их проникнуть в тайны природы, свел их с варварами и принес им золото — источник всех несчастий (741—749; 784—803). Медея — лишь концентрированное выражение трагической вины аргонавтов, которая состоит в деятельности и познании:

Новый путь отыскивать всем опасно.
Ты иди дорогою верной предков,
Не дерзай священные связи мира
Рвать самочинно.

(737—740. Пер. С. Соловьева)

В перечисленных образах идея развития и новизны неизменно связывается с представлением о каком-то космическом, демоническом зле. У Лукана энергия Цезаря враждебна людям, жизни и богам, их охраняющим. Он собственноручно вырубает священную рощу (Phars. III, 436 сл.), его поддерживают хаотические силы природы (V, 591 сл.), он глумится над мертвыми (VII, 790 сл.). Virtus et summa potestas non coeunt — «Добродетель и власть несовместны» (VIII, 494), — говорит один из сторонников диктатора. То же самое у Силия: Ганнибала, как и Цезаря, не могут остановить ни трудности, нивеления неба (Pun. III, 510—514; 563 сл.; IV, 4); богам он не только не подчиняется (XII, 633—638), но даже пытается сражаться с ними; его постоянные спутники — Metus Terrorque Furorque (IV, 238), его победы в бою — не только подвиги, но и злодеяния (X, 122—133). У Сенеки Медея не просто поднимает руку на власть и государство, не только убивает собственных детей; она разрушает закон (Med. 1058) и течение времени (907 сл.), посягает на богов (505 сл.), несет с собой слепой хаос (889).

Подобное представление о деятельности и развитии как об упадке нравов и торжестве зла само по себе присуще, как известно, всей философии римской истории в период ранней Империи, наиболее концентрированное выражение, однако, оно находит себе в литературе эпохи Нерона и Флавиев. Оно порождает и объясняет образ, прототип которого непосредственно представлен в политической практике времени, но который получает в литературе данного периода предельно широкое истолкование. В этом своем обобщенном значении тип сенатора меньшинства связывается с принципом социального развития. Последнее же воспринимается как торжество разрушающих традиционные ценности и наделенных противоестественной энергией алчных и хищных честолюбцев, т. е. как зло.

3. ЛЮДИ БОЛЬШИНСТВА. MOS MAIORUM, PIETAS, VIRTUS

Большинство римского сената — это сотни людей, о которых мы не знаем ничего, обычно даже имен. Соответственно, не существует материала, который характеризовал бы их как совокупность индивидуальностей и позволил бы прямо установить их общественно-психологический тип. Есть основания, однако, судить о нем по тем относительно хорошо нам известным людям, которые представляли так называемую сенатскую оппозицию и были уничтожены в ходе борьбы ее с императорами³³. Основания эти следующие.

³³ Автор, таким образом, не разделяет возрождаемый в последнее время старый взгляд исследователей момзеновской школы, согласно которому стоическая оппозиция представляла собой изолированную в составе сената кучку из нескольких человек. См. D. Mac A l i n d o n, Senatorial Opposition to Claudius and Nero, AJPh, 77 (1956),

Во-первых, все источники отмечают политическую пассивность и робление сената при Нероне и Флавиях; представители так называемой оппозиции сливаются в этом отношении с подавляющим большинством сенаторов и лишь в определенные редкие моменты обнаруживают самостоятельную линию поведения³⁴. Во-вторых, при проведении репрессий против людей оппозиции сенат окружался войсками (Тас., *Ann.* XVI, 27; *Agr.* 45), что не имело бы смысла, если бы так называемые оппозиционеры составляли в нем никого не выражавшую группу из нескольких человек. Сюда же относится то обстоятельство, что репрессии Домициана по отношению к сенатской оппозиции хронологически совпадают с мерами, принятыми им для укрепления своего авторитета в легионах³⁵. В-третьих, люди стоической оппозиции пользовались значительной популярностью в сенате³⁶, т. е., очевидно, соответствовали нравственно-политическим критериям его большинства. В-четвертых, одним из главных факторов, обусловливавших вражду оппозиции и принцепсов, была деятельность доносчиков; с этой точки зрения факты осуждения императорами доносчиков в угоду сенату³⁷ также доказывают совпадение стремлений оппозиции и сенатского большинства. В-пятых и главных: основное требование оппозиционеров состояло в уважении принцепсами привилегий сената и его роли в управлении государством; императоры многократно шли навстречу этим настояниям, стремясь обеспечить себе поддержку сенаторов и доказывая тем самым, что требования оппозиции выражали интересы сенатского большинства.

На основании изложенного представляется допустимым выделить группу лиц, анализ общественных реакций, нравственных принципов и поведения которых позволяет примерно восстановить тип сенатора большинства. Для 60—90 гг. — это Светоний Паулин, Луций Антистий Вет, Гай Кассий Лонгин, Плавтий Латеран, Паконий Агриппин, Тразея Пет, Сервий Гальба, Марий Цельз, Гельвидий Приск, Арулен Рустик, Геренний Сенецион; в особых, но весьма тесных отношениях с этим кругом находились философ Сенека и полководец Корбулон.

Идеологическая и нравственно-психологическая система, к которой эти люди принадлежали, определяется понятиями *mos maiorum*—*pietas*—*virtus*.

Mos maiorum — усмотрение в «нравах предков», в традиции и преданности старинным установлениям высшего критерия общественной морали,

№ 2; R. S. Rogers, A Group of Domitianic Treason Trials, «Cl. Phil.», 55 (1960), № 1; B. Grenzhuser, Kaiser und Senat in der Zeit von Nero bis Nerva, Münster (Westf.), 1964, стр. 119. В последней работе см. дополнительные библиографические указания.

³⁴ Г. Кассий Лонгин и Пет Тразея выступали в сенате с предложением воздать особые почести Нерону (Тас., *Ann.* XIII, 41; XIV, 48), Тразея пытался вместе со всем сенатом отправиться в Анции поздравить Нерона с рождением дочери (там же, XV, 23); Гельвидий Приск отказался от политического выступления в сенате «так как неясно было чего хочет Гальба» (Тас., *Hist.*, IV, 6); Светоний Паулин не стал настаивать на правильном и спасительном плане кампании, чтобы не ссориться с окружением Отона (там же, II, 32 сл.); льстивая покорность Сенеки принцепсам известна.

³⁵ Какой-то сенатский заговор был подавлен в 83 г. (Euseb., *Chron.* a. 2099; Dio Cass., 67, 3, 3); с того же года было увеличено жалование легионерам (Dio Cass., 67, 3, 5; ср. Suet., *Dom.* 7); со следующего года начинает выпускаться серия монет, призванных подчеркнуть солидарность императора и армии. — H. Mattingly, *Coins of the Roman Empire in the British Museum*, II, L., 1930, стр. 364, 372, 377, 379, 381, 386, 403.

³⁶ О Тразее см. Тас., *Hist.* II, 91; *Ann.* XIV, 49; о Светонии Паулине — *Plut.*, *Otho*, 5; о Гае Кассии Лонгине — *Dig.* 1, 2, 11; о Корбулоне — Тас., *Ann.* XIII, 8; о Юнии Маврике — *Plut.*, *Galba* 8.

³⁷ Тас., *Ann.* XI, 5—7 при Клавдии, Тас., *Hist.* IV, 40—44 при Веспасиане; *Plin.*, *Еpp.* VII, 33; ср. Тас., *Agr.* 45, 1 при Домициане.

характеризует римскую культуру с самых давних времен³⁸. Приверженность многих людей большинства этому принципу очевидна. Тразев оставляет в сенате верность древним обычаям (Тас., *Ann.* XIII, 49; XV, 21). Кассий Лонгин старается восстановить во вверенных ему войсках «древнюю дисциплину» (там же, XII, 12) и непрестанно изучает историю римского права, что воспринималось как выражение его приверженности старине (XIV, 43). Сервия Гальбу сгубили «излишняя суровость и негибаемая, в духе предков, твердость характера, ценить которые мы уже не умеем» (Тас., *Hist.* I, 18). Водораздел между меньшинством и большинством сената в некоторых случаях откровенно проводился на основании отношения к *mos maiorum*: «Древностью должно восхищаться, но сообразовываться приходится с нынешними условиями», — сказал Гельвидию Эприй Марцелл во время одного из самых резких их столкновений³⁹.

Классическим воплощением преданности *mos maiorum* был сенатор Л. Антистий Вет. Сам он принадлежал к плебейской семье, выдвинувшейся в конце Республики и через дочь породнился с патрициями Клавдиями — его зятем стал Рубеллий Плавт, потомок Октавиана Августа. За свою знатность Плавт в 60 г. был выслан в Азию, а в 62 г. Нерон отправил отряд солдат, которые должны были его там убить. Вет написал зятю письмо, в котором, возрождая представления сулланского и цезарианского времени, толкал его на беспрецедентный в истории Империи шаг — уничтожить солдат, поднять Восток, сопротивляться до конца. Аргументы его целиком выдержаны во вкусе древней *virtus* (Тас., *Ann.* XIV, 58). Плавт тестя не послушался и дал себя зарезать, но через три года Вету самому предстояло доказать, что он способен не только давать советы, жить, но и умирать *more maiorum*. Памятью о древнем принципе: недопустимо вступать с рабом, настоящим или бывшим, в равные отношения, он не стал защищаться от обвинений, предъявленных ему сразу после заговора Пизона его отпущенником, удалился в свое поместье и покончил с собой. Самоубийство его было проведено как величественное действие во вкусе предков — всей семьей, с раздачей имущества рабам и клиентам, на высоком нравственно-эстетическом уровне, наподобие самоубийств Валерия Азиатика, Сенеки или Тразев и в резком контрасте с оттягиваемой до последней минуты, трусливой и яростной вместе, смертью Нерона, Тигеллина или Марцелла.

В поведении сенаторов большинства *more maiorum*, как показывает последний пример, ясно чувствуется оттенок стилизации. Главным было все же не прошлое, а настоящее, не столько уважение к традиции, сколько активное утверждение нормы, отличной от распространенных в обществе форм поведения. Нежелание Вета тягаться со своим отпущенником приобретало особый смысл в эпоху, когда сенат в полном составе воздавал отпущенникам почести (Plin., *Ep.*, VIII, 6), а принцепс поручал им управление Империей (Jos., *V. J.* IV, 9, 2; Dio Cass. 63, 12). В крайней, в духе предков требовательности Корбулона к солдатам (Тас., *Ann.* XI, 18—20; XIII, 35) или в его манере переносить вместе с ними трудности походов (XIV, 24) было меньше подражания Фабию Максиму, чем уязвления Нерона, заискивавшего перед солдатами. Утверждение себя как личности через непринадлежность к окружающему стилю поведения — важный элемент этики сенаторов большинства.

³⁸ «Древнеримская мораль была целиком ориентирована в прошлое» — С. Л. Утченко, *Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики*, М., 1952, стр. 56. Подтверждением этого положения является вся римская литература, так что изыскивать цитаты, его подкрепляющие, затруднительно. Может быть, ярче других: E n n. a r. A u g u s t., *Civ. Dei* II, 21, c p. C i c., *De re publ.* V, 1; A u l. G e l l., *N. A.*, XV, II; C i c., *De imp. Cn. Pomp.* XX, 60; H o r., *Carm.* III, 6, 46—48.

³⁹ T a c., *Hist.*, IV, 8. О презентизме как отличительной черте людей меньшинства см. выше стр. 68.

Pietas составляет ту часть их мировоззрения, в которой этот элемент проявляется еще яснее. Как и *mos maiorum*, *pietas* — одна из традиционных основ римской морали⁴⁰. Означая добровольное и спокойное подчинение религиозному, государственному и семейному долгу, уважение к обществу и его устоям, *pietas* для сенатора *Iv.* практически выражалась в неуклонном выполнении обязанностей перед воплощавшим это государство принципом и лишь через него — перед Империей, Римом и историей. Именно так вели себя Сенека (Тас., *Ann.* XIV, 53), Корбулон (Dio Cass., 62, 23; 63, 17), Траезя (Тас., *Ann.* XIV, 48), Гальба (Suet., *Galba*, 6—8), Вергиний Руф⁴¹ и многие другие. Последовательней всех, пожалуй, Марий Цельз, о котором стоит поэтому рассказать особо.

Уроженец Нарбонской Галлии (ILS, 6977), отличавшийся упорным провинциальным консерватизмом, он входил в окружение Корбулона (Тас., *Ann.* XV, 25) и славил последних республиканцев как борцов за свободу римлян (Plut., *Otho* 13). Видя в принципате форму римского государства, он старался служить не лицу, а делу, так как за *pietas erga principes* для него всегда стояла *pietas erga rem publicam*. Цельз до самого конца оставался верен Гальбе и никогда от него не отрекался, но, поняв, что после смерти Гальбы верховную власть представляет Отон, соглашается войти в число его советников и полководцев. Он также до конца сражается с вителлианцами, а после их победы и гибели Отона, выполняет долг *pietatis et fidei* по отношению к покойному императору, своему положению командующего и своим солдатам, отправляется в лагерь победителей и, рискуя жизнью, добивается бескровного исхода дела. Последующим императорам он служил с той же непоколебимой верностью и был консулом при Вителлии и наместником Сирии при Веспасиане (Тас., *Hist.* I, 77; ILS, 8903).

В структуре понятия *pietas* полностью раскрывается отмеченная выше особенность нравственного мировоззрения сенаторов большинства. По своему своему смыслу *pietas* предполагает отказ от личных критериев истины и добра и признание таковыми господствующей общественной практики. Но в данную эпоху эта практика характеризуется растущим распадом патриархальных связей, невиданным обострением социальных противоречий, а потому и забвением норм, ориентированных на целостные интересы общества и государства. Поведение героев произведений Петрония, Марциала и Ювенала иллюстрирует и подтверждает сказанное. В этих условиях следование *pietas* из формы растворения в общественной практике становится формой противостояния ей, из верности коллективной эмпирии верностью коллективной норме, которую я осознал и за которую я лично ответственен. *Pietas* Цельза в принципе означала уважение к государству и обществу, а потому должна была обеспечить гармонию его поведения с поведением окружающих и действительностью в целом, но в реальных условиях социальных противоречий и игры своекорыстных интересов она превращалась в назидание и вызов и порождала дружную ненависть к нему и в окружении принципса (Тас., *Hist.* I, 71) и у солдат (там же, II, 23). Когда Приск подобрал и похоронил тело Гальбы, убитого преторианцами Отона, это было проявлением *pietatis*, т. е. актом нормальным и традиционным. Но в этот же день все коллеги Приска устремились поздравлять Отона с победой, а 120 человек подали письменные заявления, где говорили о своей причастности к падению Гальбы и требовали за это на-

⁴⁰ Как и в случае с *mos maiorum*, тексты, подтверждающие это положение, столь обильны, что здесь можно назвать лишь некоторые в качестве примеров: V a l. M a x., V, 4—6; C i c., *De re publ.*, 1, 2; V e r g., *Aen.* VI, 403 et passim; XI, 600. Ср. Н. А. М а ш к и н. Принципат Августа, М., 1949, стр. 224 сл.; сводка материала в кн. U l r i c h., *Pietas*, Breslau, 1930.

⁴¹ R E, 2. Reihe s. v., см. в особенности стб. 1536 сл.

грады (там же, I, 44). Из «нормальной и традиционной» *pietas* Гельвидия превращалась в отрицание господствующего сервиллизма, в акт утверждения личной моральной ответственности.

Virtus, изначально входившая в число тех же традиционных римских добродетелей, требовавших отречения от себя во имя блага общины, в эпоху Нерона и Флавиев в корне меняет свое значение. Если Август поставил ее на первое место в списке своих достоинств (RGDA, 34 Gage), то в многословнейшем перечне добродетелей Траяна, где названо до 16 положительных его свойств (Plin., Paneg. I, 6; II, 6 сл.; III, 2—5) *virtus* отсутствует, хотя в своем исконном значении она именно при характеристике Траяна была, казалось бы, уместной и необходимой. В определенные моменты Домициан был крайне заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою солидарность с армией, избрав себя храбрым бойцом, опытным и мужественным полководцем — ни на одной из монет, выпущенных с этой целью⁴², не фигурирует слово *virtus*, хотя Август в сходных ситуациях обращался именно к нему⁴³. При описании в «Истории» боевых подвигов римских солдат Тацит не пользуется словом *virtus* там, где по контексту оно, казалось бы, наиболее естественно⁴⁴. Тот же Тацит дает нам возможность проникнуть в причины этого положения. В «Агриколе» он пользуется словом *virtus*, но (как и Плиний) лишь во множественном числе, т. е. так, что оно утрачивает свой основной смысл и обозначает просто достоинства, «положительные свойства»⁴⁵, *sensu pregnante* же он употребляет его очень редко, — в основном, говоря о членах стоической оппозиции (Tac., Agr. I, 1). Точно так же и в «Анналах» слово *virtus* применяется, главным образом, для описания поведения людей, стоически противостоящих жизненной рутине, привычной подлости, идущих против течения и всегда до конца. Плиний, отказавшийся от этого слова при описании императора и солдата Траяна, пользуется им для характеристики женщины — вдовы Гельвидия — Фаннии, также подвергшейся репрессиям Домициана, но сумевшей не сдаться, не раствориться в общем сервиллизме, сохранить и увезти в изгнание биографию своего мужа, осужденную сенатом на сожжение. *Virtus*, добродетель служения государству, становится при Нероне и Флавиях добродетелью противостояния непосредственной практике этого государства⁴⁶. Только так, например, объясняется образ виднейшего сенатора большинства Тразей Пета. В своей политической деятельности он был полностью лоялен по отношению к Нерону⁴⁷ — обвинения его в республиканизме (Tac., Ann. XVI, 22) ничем не подтверждаются, — по всему своему облику то был преданный интересам государства, консервативный и дельный, т. е. вполне нормальный римский сенатор. Но он жил в эпоху, когда явно переставала быть нормальной сама эта старомодная норма, иверность ей требовала личного, активного сопротивления эмпирическому и общераспространенному. Такое сопротивление — ведущая черта в облике Тразей (Dio Cass., 62, 15; Plin., Ep. VI, 29, 1). Она навлекла на него ненависть Нерона (Tac., Ann. XVI, 21), ее ставили Тразее в вину при осужде-

⁴² M a t t i n g l y, ук. соч., II, стр. 86, 307, 315, 317 сл., 321 сл., 325, 329, 335, 343; ср. также монеты, упомянутые в прим. 35.

⁴³ Ср. денарий, приведенный у Н. А. Машкина (ук. соч., стр. 496, табл. VII, 7).

⁴⁴ Ср., например, T a c., Hist., I, 43; III, 23; III, 54.

⁴⁵ Очень ясно, у P l i n., Paneg. IV, 5; *adhuc nemo exstitit, cuius virtutes nullo vitiorum confinio laederentur*.

⁴⁶ По удачному замечанию современного исследователя, «римская *virtus* перестала обозначать характер деятельности и тяготела все больше к выражению внутренней стойкости, морального утверждения своего я через его внутреннюю свободу» (G. P f l i g e r s d o r f f e r, Lucan als Dichter des geistigen Widerstandes, «Hermes», 87 (1959), стр. 349).

⁴⁷ T a c., Ann. XIV, 48; 22; D i o C a s s., 65, 12, 2.

нии его в сенате (Тас., *Ann.* XVI, 22 и 28). Если современники называли его *virtus ipsa* (там же, 21), то потому, что в нем *virtus* воплотилась в своем новом значении — как способность к превращению традиционных норм общественного поведения в содержание субъективного сознания, в котором они становятся некоторым идеалом, мобилизующим внутреннюю энергию человека на сопротивление этике повседневного и привычного.

Нравственно-идеологический комплекс *mos maiorum* — *pietas* — *virtus* обнаруживает, таким образом, внутреннюю диалектику: ценности, изначально ориентированные на ответственность человека перед общиной, превращаются в не связанную с действительностью идеальную норму. Следование ей требует готовности противостоять непосредственно наличным формам общественной и государственной жизни, т. е. обостренным чувства личности и ее морального долга — чувства, связанного с распространением новых, индивидуалистических представлений. Старая коллективистская этика становится содержанием нового, личностного мироотношения, а ее консерватизм — критикой действительности и формой ее отрицания.

Такой характер системы *mos maiorum* — *pietas* — *virtus* объясняет в людях большинства многое — их вкусы, их философию, их историческую судьбу.

В общем облике людей сенатской оппозиции, в самой фактуре их жизни обращает на себя внимание удивительное сочетание консервативных, исконно римских традиций и вкусов со всякого рода «неотерикой», с индивидуалистическим модернизмом, отчетливо окрашенным в восточные тона⁴⁸. Модернистским был атикцизм — излюбленный литературный стиль оппозиционеров от Брута до Сенеки, которым они славили Катона и древнеримскую *virtus*. Тразев требовал, чтобы провинциалы, как некогда, трепетали перед каждым римлянином (Тас., *Ann.* XV, 21) и избрал своим собеседником в последние минуты жизни нищего грека Деметрия (там же, XVI, 34). Один из последних республиканцев, казненный Нероном Плавтий Латеран отличался модной, но для сенатора неприличной страстью к конским бегам (*Juv.*, VIII, 146 сл.). Сенаторы большинства дружили с Музонием Руфом (*Plin.*, *Ep.* III, 11), преподававшим философию даже рабам (в числе его учеников был Эпиктет). Арулен Рустик посещал лекции грека Плутарха (*Plut.*, *De curios.* 15).

С той же двойственностью человеческого типа связан широко известный стоицизм людей большинства. В нем принято подчеркивать момент внутренней нравственной ответственности, независимости от официальных почестей и материальных благ, от обиходных представлений о выгодном и разумном поведении, волевое, неуклонное следование своей внутренней норме, — словом, тот нонконформизм и тайную свободу, которые и делали стоицизм философией оппозиции. Это верно. Сенатское большинство так же раскрывается в философии стоицизма, как сенатское меньшинство — в литературе. При этом, однако, не всегда учитывается, что центральное для стоицизма понятие нравственной ответственности характеризуется не только своим общим индивидуалистическим, протестантским пафосом, но и вполне определенным общественно-историческим содержанием. Содержание же это, в соответствии со сказанным выше, составляет обязательства личности перед государством, традицией и словесным коллективом в духе *moris maiorum* и *pietatis*. Катон Утический был готов уступить жену своему единомышленнику, только бы способствовать «сплочению государства» (*Plut.*, *Cato Min.* 25). Персий, перечисляя заповеди стоика, напоми-

⁴⁸ См. интересный разбор этого вопроса в кн. E. Paratore, *Tacito*, Milano, 1951, стр. 105—126.

нает об обязанности «ничего не жалеть для родины» (III, 70—71). О Гельвидии прямо сказано, что он стал стойком, «дабы увереннее вести дела государства среди разного рода случайностей» (Тас., Hist. IV, 5). Сенека полагал, что стоическую *virtus* естественнее всего обнаружить «в храме, на форуме, в курии» (Sen., De vita beata 7) и сам в течение пяти лет правил государством. Эти сосредоточенные на внутренней нравственности и идущие ради нее на смерть протестанты вообще проявляют высочайшую степень политической активности на службе государству и принцепсу, т. е. на той службе, которую они теоретически отрицают как «не имеющую отношения к душе» (там же, 4; ср. Тас., Hist. IV, 5).

Пока речь шла о теоретической постановке вопроса, эти противоречия в мысли и поведении сенатора большинства оказывались не только совместимым с его философией и художественными вкусами, но и обогащали их: традиционализм утрачивал свою цельную и бездуховную консервативность, обретал диалектику, рефлексию и сложность, индивидуализм же сохранял определенную связь с субстанциальными категориями народной жизни — историей, традицией, общественной ответственностью. Однако в реальном историческом развитии интересующего нас сейчас типа эта диалектика раскрывалась совсем по-другому.

Отрицание практики императорского государства и верность его высшему историческому смыслу как моменты теоретической мысли могли совмещаться, как формы политического поведения они исключали друг друга. Верность государству, практика которого внутренне воспринималась как чуждая и неприемлемая, превращалась в приспособленчество и лицемерие, столь характерные для большинства сенаторов⁴⁹, отрицание же этой практики с позиций консервативной фикции римской государственности и абстрактного морализаторства перерастало в отрицание действительности, развития и жизни, в форму смерти.

Видные представители сенатского большинства окружены какой-то особой мертвенной атмосферой. Иногда она проявляется в их неспособности рассмотреть реальные пропорции происходящего, в напыщенной жесткости подхода к жизненным явлениям. Так вел себя Корбулон-отец, получив поручение проинспектировать дорожное строительство в Италии (Тас., Ann. III, 34; ср. Dio Cass., 59, 15), Кассий Лонгин при разборе взаимных претензий жителей и магистратов города Путеол (Тас., Ann., XIII, 48) и еще несравненно хуже — Светоний Паулин при подавлении восстания британских племен в 61 г. *Mos maiorum, antiqua virtus et rei publicae utilitas*, судя по рассказам Тацита и Диона Кассия (там же, XIV, 29 сл.; Dio Cass., 62, 10), отчетливо выступают здесь как форма аристократического безразличия к живым людям, самоупоенного и бездарного легкомыслия и бесконечной жестокости.

Последнее не случайно. При всей первозданной свирепости римских нравов, наказаний, зрелищ, делавшей жестокость естественной стихией существования, именно в I веке н. э. она начинает встречать осуждение — моральное, а позднее и юридическое⁵⁰. Это было новое веяние, и потому отста-

⁴⁹ См. выше прим. 34. К теоретическому обоснованию пассивности и приспособленчества сенаторов большинства — Sen., De vita beata, 6; Ep. 14; 73; Та с., Agr. 42, о превращении стоицизма в практической жизни в претензию и моду — Juv. II, особенно 3—7, 17—20.

⁵⁰ О постепенном отказе от убийства детей, родившихся больными, говорит сравнение Liv., XXVII, 37, 5—6; Sen., Controv. X, 33; Sen. De ira, I, 15, 2 с; Plin., H. N. VII, 16; о массовом возмущении жестокостями флавянцев в 69 г. см. Та с., Hist. III, 34; об изменении отношения к рабам — Та с., Ann. XIV, 42 и 45; Sen., De benef. III, 18; 20; 28; IV, 26; De vita beata 24, 3; Ep. 31, 11; 47, 10—17 и 19, о популярности этих воззрений Сенеки — Quint., Inst. Orat. X, 1, 125; Plut., Cato Maior 5.

ивание *moris maiorum* все явственнее влекло за собой стремление реабилитировать жестокость, противопоставить велению времени консервативную догму. Были контексты, в которых слова «по заветам предков» были просто синонимом жестокости⁵¹. Известна крайняя жестокость мер, принимавшихся и теоретически обосновывавшихся Корбулоном (Тас., *Ann.* XI, 18; XIII, 35), Тразеей и особенно Кассием Лонгином (там же, XIV, 43 сл.). Обоснование, впрочем, всегда было одно и то же: так завещали предки, так было — значит, так должно быть.

Изоляция от развития и жизни имеет своим конечным результатом смерть. Чтобы ни делал человек, включенный в систему *mos maiorum* — *pietas* — *virtus*, смерть всегда стояла у него за плечами. Мысль о ней не покидала Аррию, жену Цецины Пета (Plin., *Ep.* III, 16,9), Тразею (Тас., *Ann.* XVI, 25 сл.), Силана Торквата (там же, XVI, 9), Пизона Лициниана (Тас., *Hist.* I, 29), Сенеку (*Ep.* 26), даже его друзей — придворных (*De tranquill. an.*, 1). Дело здесь далеко не исчерпывается их положением жертв императорского террора. Не менее важно другое.

Мы видели, что моральные представления и реальное поведение людей меньшинства были ориентированы на безидеальный практицизм, циническую трезвость и материальный успех. Отталкиваясь от этих представлений, люди противоположного общественного типа должны были выдвигать на первый план нравственную свободу от требований эмпирической реальности, т. е. независимость от материальной деятельности и практического успеха как ее стимула. Но если жизнь сводится к безидеальному и подлежащему осуждению практицизму, то нравственная позиция оказывается исключительной всякую «посюстороннюю» деятельность. Внутренняя активность, столь важная для стоицизма, превращается в «вещь в себе»; «для нас» же остается лишь универсальная и глубокая пассивность. При этом уже неважно, выражается она в безвольном растворении в действительности или в полном ее отрицании — она означает уход из той единственной сферы, где реально устраняется противоположность эмпирии и нормы, — отказ от участия в поступательном развитии истории; она есть, другими словами, отказ от жизни и, значит, погружение в смерть.

Вывод из всего, до сих пор сказанного, заключается в том, что в столкновении сенатских группировок раскрывается общий идейный кризис римского рабовладельческого общества эпохи Нерона и Флавиев. Он состоит в том, что в этот период и верхними, и примыкавшими к ним более широкими социальными слоями овладевает убеждение в относительности и взаимной неправоте обоих главных принципов римского нравственного и общественного мышления — принципа развития, особенно остро выступившего как разложение и зло, и принципа консерватизма, раскрывшегося теперь яснее, чем раньше, как историческое бессилие и смерть.

4. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМЫСЛ БОРЬБЫ СЕНАТСКИХ ГРУППИРОВОК. ЭПОХА ФЛАВИЕВ

Чем вызван кризис, описанный в предшествующих разделах?

Его главные, наиболее глубокие причины связаны с общими особенностями римского исторического развития — прежде всего с характером производственно-экономической структуры римского общества. Эстетизация консерватизма и пассивности и, соответственно, восприятие энергии, практической ловкости и житейской инициативы как разложения и зла образуют устойчивые черты римской культуры в целом; их зависимость от основных свойств рабовладельческого производства была раскрыта К. Марк-

⁵¹ Например, в наименовании казни *more maiorum*.

сом⁵². Конкретный разбор обрисованной выше ситуации как одного из проявлений этой общей политико-экономической закономерности — важная и увлекательная задача, которая, однако, по характеру и объему подлежащего привлечению материала должна составить предмет самостоятельного исследования. Сейчас поэтому целесообразнее остановиться на непосредственных причинах описанного кризиса, рассмотрев его с этой целью в непосредственном контексте его эпохи.

Изучение этого контекста показывает, что разрыв между эмпирией общественного развития и консервативной нравственной нормой не является отличительной чертой сенатской идеологии. Напротив того — этот разрыв представляет собой лишь одно, концентрированное выражение господствующих идейных, социально-психологических и художественных тенденций времени и порожден особой общественной атмосферой, вызванной, в свою очередь, реальными процессами римской истории данного периода.

Доминирующее ощущение флавийской эпохи — это ощущение распада действительности, разделения ее на сферу грандиозного величия, исторического, государственного, мифологического, фантастического и на мелкую, грязную, бытовую повседневность.

Апофеоз умершего императора — явление с психологической точки зрения загадочное. В Риме I века безусловно были принцепсы хуже, например, Веспасиана, но не было ни одного столь прозаически земного. Он не только был исполнен здравого смысла, груб, по-мужицки жаден, хитер и простоват зараз, но и всячески стилизовался под этот образ. Чтобы уверовать, что этот плаксивый, хитрый и, как все знали, жадный старик неожиданно, с одного дня на следующий, может превратиться в бога, раствориться в ряду могучих, грозных и вечных покровителей народа и государства, для этого нужно было нести в себе непреложное и неизъяснимое убеждение в существовании двух сфер действительности — противоположных, взаимно изолированных и иррационально переходящих одна в другую.

Это убеждение поддерживалось в римском гражданине всем его непосредственным жизненным опытом. Его окружала величественная и полупошная архаика постоянных обрядов и церемоний. Понтифик убивал жертвенное животное каменным молотом, как поступали много веков назад, до распространения металлов. По улицам в странной пляске двигались жрецы-салии, распевая гимны, бесконечно древний язык которых был непонятен уже Горацию (Нор., Ер. II, 1, 86). Центр города был заполнен статуями древних героев и историческими зданиями. Триумф, во время которого солдаты, идя следом за колесницей полководца, пели о нем непристойные насмешливые песенки, был в то же время культовым действием с принесением в жертву побежденных врагов и обрядовой трапезой. Но вернувшись после этих величественных церемоний домой, житель Рима попадал как бы в другой мир. Жил он в многоквартирной инсуле, на одном из верхних этажей, жил с замиранием сердца, потому что инсулы трескались, кренились и обваливались⁵³. В инсуле негде разместить «фамилию» рабов, и многое из того, что считалось унизительным для свободнорожденного, приходилось делать самому. Зимой в жилых домах было холодно, горели они часто. Обед вырастал в проблему — дома его готовить неудобно, в харчевнях то запрещалось подавать горячую пищу, то сами они сно-

⁵² Особенно полно в «Экономических рукописях 1857—1859 годов»; см., главным образом, разделы: «Глава о капитале. Превращение денег в капитал» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 46, ч. 1, стр. 185—256 и в первую очередь 198—207) и «Формы, предшествующие капиталистическому производству» (там же, стр. 461—508). Важны также замечания в «Капитале» (Соч., т. 23, стр. 377 сл. и 418 сл.) и в «Теориях прибавочной стоимости» (Соч., т. 26, ч. 2, стр. 586 сл.).

⁵³ Sen., De ira, III, 35; De benef. VI, 15; De tranquil. animi XI, 7.

сильсь и уничтожались. Оставаться дома вечером было скучно, а выйти небезопасно из-за воров и разбойников.

Постоянное соприсутствие в жизни одного и того же человека этой несчастной, убогой, полуголодной повседневности и декоративного величия общественных и государственных форм порождало особую структуру окружавшей этого человека материальной среды. Примерно с середины века все, что связано с государственной сферой жизни, становится особенно грандиозным, фантастическим и подчеркнуто не-бытовым, неестественным. Законченная к 52 году *Aqua Claudia* имела 72 км длины и давала ежедневно 200 тыс. кубометров воды. Дворцовый комплекс Нерона занимал в самом центре Рима около 80 га и включал озеро, луга и виллы — противоестественная *rus in urbe*; стоявшая в нем статуя Нерона возвышалась на тридцать с лишним метров. При Флавиях этот недостроенный комплекс был разобран и на его месте возведен Колоссеум (он же Колизей) — четырехэтажный амфитеатр на 50—80 тыс. зрителей. Домициан провел земляные и строительные работы такого масштаба, что они изменили естественный размер и форму Палатина и превратили весь холм в один дворец. Конную статую этого императора на форуме современники называли колоссом (Mart., VIII, 44; Stat., *Silvae*, I, 1).

Все это официальное великолепие никак не смешивалось с повседневностью. Для разделения этих сфер жизни принимались практические меры. Форумы были обнесены стенами, которые «скрывали от глаз посетителей соседние грязные и неприглядные кварталы»⁵⁴. Стена вокруг форума Траяна, построенного в начале II в., изнутри была облицована мрамором, а по внешней поверхности, обращенной к жилым домам, — перепином. Исследователь древнеримской архитектуры так описывает город интересующего нас времени: «Одна крайность — это кирпичные инсулы, с их стандартизованными, голыми, довольно монотонными кирпичными фасадами, и в резком контрасте с ними — парки, сады терм и великолепие общественных мест»⁵⁵.

Культ парадного и неестественно грандиозного легко превращается в культ неестественного самого по себе. Во второй половине века критерием эстетической ценности все отчетливее становится несходство с реальной повседневной действительностью и даже противоположность ей. «Мы с восхищением признаем подлинно изящным лишь то, что так или иначе извращено» (Quint., II, 5, 11). Вкус к неестественному распространяется на самые разные стороны жизни при Нероне и Флавиях, становится подлинным знаменем времени. Он сказывается в прикладном искусстве, где красивыми начинают считать материалы, обработанные до полной утраты своих естественных цвета, формы, плотности (Plin., N. H. XVI, 232; Petron., Sat. 38), в кулинарии, где свинина ценится, когда она после приготовления оказывается похожей на рыбу, а окорок — на голубя (там же, 70). Художественный эффект помпейской живописи «четвертого стиля» (60—70-е гг.) строится на том, чтобы создать в замкнутом объеме комнаты ощущение пространственной бесконечности, а архитектурные мотивы, заполняющие плоскость стены, сплетаются в фантастические сюиты, где лестницы, колонны, пилястры изображаются в положениях, с точки зрения их естественной жизненной функции заведомо невозможных.

Эстетика грандиозного, причудливого и неестественного, в основе которой лежит ощущение противоположности идеального величия или идеальной красоты и жизненной реальности, охватывает также всю область

⁵⁴ М. Е. Сергеевко, Жизнь древнего Рима. М.—Л., 1964, стр. 26.

⁵⁵ A. Voët h i u s, *The Neronian nova urbs*, «Corolla Archaeologica», Lund, 1932, стр. 88.

слова. «Считается, что простой и естественный язык не требует никакого таланта» (Quint., II, 5, 14). Никто и никогда не пользовался в реальной жизни таким латинским языком, каким писали Сенека или Тацит и тем не менее или, вернее, именно благодаря этому они пользовались особой популярностью среди юношества (Quint., X, 1, 126; ср. Plin., Ep. IV, 13, 10), а Сенека оказал решающее влияние на литературно-художественные вкусы своих современников (Quint., X, 1, 127).

Внутренний смысл и объективные жизненные основания всей этой эстетической системы ясно обнаруживаются в современной поэзии, особенно ясно — у Марциала и Ювенала.

Цель Марциала — изобразить реальную, развивающуюся, живую действительность (VIII, 3; X, 4), показать, как она весела и смешна (XI, 2). Это явно не получается — со страниц поэта-весельчака встает мерзкий, грязный и страшный мир: сын, находящийся в противоестественных отношениях с матерью, или пасынок с мачехой (II, 4; IV, 16); брак с расчетом на близкую смерть богатой супруги, а если она задерживается на этом свете, яд, чтобы ей помочь (I, 10; II, 65; IV, 69); матроны предаются еженощному пьянству, последствия которого наутро заглушаются душистыми пилюлями и притираниями (I, 87); дружба, превратившаяся в вымогательство денег и подарков (IV, 67). Грубость, наглость, жестокость, алчность, разврат, обман царят и в домашних, и в общественных отношениях. Почему римская действительность предстает в таком свете в стихах поэта, который меньше всего стремится бичевать и клеймить, который хотел всего лишь смеяться?

Отчасти потому, что она такой была; отчасти потому, что изменилось восприятие, и многое из того, что кажется нам страшным и мерзким, вызывало у римлянина только усмешку. И все-таки главное не в этом. Мы знаем доподлинно, что было в окружавшей Марциала жизни много хорошего — растущего, нового и молодого. Но новое, растущее и кажется ему формой отвратительного, потому что у него нет критерия для их восприятия и оценки. Весельчак и демократ, лукаво выпрашивающий то плащ, то обед, он вдруг патрициански осведомляется:

Кердон-сапожник давал в изящной Бононии игры.
В Мутине дал сукновал. Где же трактирщик их даст?

(III, 59. Пер. Ф. Петровского)

До нас дошли надписи, оставленные этими сапожниками и сукновалами, исполненные гордости за себя, за свою профессию, за то, что они сделали для своего родного города⁵⁶. Их рассуждения — единственное отрадное, что мы слышали в триклинии Гримальхиона (Petron., Sat. 42 сл.). Они представляют ясно сказавшееся во флавианское время здоровое движение истории, без которого, кстати сказать, не попал бы в Рим и дитя испанского захолустья Марциал. И ведь нет оснований думать, что Марциал — сторонник отмирающей аристократии, выразитель ее взглядов, враг развивающегося и нового. Он прямо отмежевывается от ревнителей *moris maiorum* (I, pr.), видит в идеализируемом ими прошлом одну лишь дикость и грубость (II, 89), потешается над древним искусством (XI, 90), не сомневается в том, что «дедовский век современности так уступает» (VIII, 55 [56]). Он принадлежит этой развивающейся современности, но она не несет с собой себе адекватных, столь же новых и развивающихся, нравственных и идеологических критериев и норм. «Кердон-сапожник», сукновал и трактирщик, становящиеся материальной основой общества, не стали и не могут стать его духовной основой. Их этики и их мироотношения как духовного выражения Рима еще нет. Поэтому в их среде можно либо раствориться, либо, уже если

⁵⁶ М. Е. Сергеев. Ремесленники древнего Рима, Л., 1968, стр. 15, 17, 27.

оценивать пришедшие с ними формы поведения, то по единственной наличной мерке — по старинной, жесткой мерке предков.

Когда Марциал хочет дать нравственную оценку событию, единственное, на что он может опереться, подчас в полном противоречии со своими исходными взглядами, это те самые представления, которые столько раз выявляли свою устарелость и мертвенность — все тот же *mos maiorum*, та же безжизненная *virtus*, та же идеализация патриархальной бедности. Похвалить друга — значит сказать, что он «вроде друзей, о каких древность предание хранит» (I, 39). Для доказательства своего превосходства над собеседником Марциал вдруг вспоминает, что он трибун и сидит на всаднических местах в театре, что у него есть почетное право трех детей (III, 95). Он знает всему этому цену, знает, что стал трибуном, ни разу не вступив в военный лагерь, а «отцом трех детей», не будучи женатым. Но едва заходит речь об общественном положении человека, вокруг всех этих титулов начинает проступать исторический, освященный традицией ореол, и поэт сам начинает верить в их величавую значительность. Погруженный в «жизнь, как она есть», Марциал видит в Катонах и Брутах полукомические музейные экспонаты (I, рг.; XI, 2), но жизнь не только «есть», она еще и что-то значит, т. е. оценивается, а авторитетна и значима лишь оценка, завещанная теми же Катонами и Брутами. — Марциал пишет стихи, прославляющие их жизнь и их продолжателей (I, 13; 42). Он любит Рим, его суету, хронику его скандальной жизни, и он же пишет эпиграммы, где единственной альтернативой всему этому не слишком чистому веселью оказывается честный бедняк — идеализованный древний римлянин, не затронутый городской цивилизацией и «порчей нравов» (II, 90; III, 58 и др.).

С точки зрения таких критериев дурным, нелепым, грубым и грязным оказывается просто новое и развивающееся.

Такой путь — не случайность и не исключение, его же проделывает Ювенал. Он с гневом и презрением разоблачает и ревнителей старины⁵⁷, и ловких любителей преуспевать на современный лад⁵⁸. Но как только надо перейти от отрицания к утверждению, он снова, в полном противоречии с самим собой, видит единственную ценность в патриархальной, консервативной морали, ибо другие критерии общественной нравственности ему неведомы. А с этих позиций сплошной грязью и упадком нравов представляется все новое, все развивающееся и живое. Ювенал презирает современную аристократию, но Плавтий Латеран, отказавшийся от мертвых и лицемерных форм аристократического существования, встречает не менее гневное его осуждение (VIII, 146 сл.). Его негодование вызывает женщина, которая всего лишь, как многие женщины, ей современные (*Stat., Silv.* III, 5, 64; *Plin., Ep.* IV, 19), предпочла занятия искусством благочинному, во вкусе предков, прядению шерсти (*Juv., VI*, 379—392). Но в отличие от Марциала Ювенал показывает (и в этом его величие как мыслителя и художника), что в своем забвении старинных нравственных норм новомодные сенаторы и всадники не просто забавны, а и действительно гнусны, что уход из жизни омертвевших староримских представлений о *mos maiorum*, *pietas* и *virtus*, вместо того чтобы освобождать дорогу новым ценностям, не оставляет этим сенаторам и всадникам ничего, кроме разврата, злобного и циничского. Отвращение, которое испытывает Латеран к обесмысленным традициям и обычаям окружающего его общества, не приводит его никуда, кроме кабака и притона; свободолюбие римской матроны и ее увлечение искусством — не просто элементы новой системы ценностей, а прежде всего — издевательство над старой, единственной наличной системой.

⁵⁷ *J u v.*, V, 30—40; ср. VII, 91.

⁵⁸ *J u v.*, IV, 45—52; 110—120; 135—143; ср. VII, 13—16; 129—140; IX, 102—123.

В сатире Ювенала отразился тот объективный факт, что в эпоху Нерона и Флавиев в господствующих слоях Рима силы, отрицающие старые общественные формы, развиваются в пределах еще самих этих форм и порожденных ими взглядов, не открывают никакой реальной исторической перспективы, никакого подлинного выхода, проявляются как цинизм, хищничество и зло.

Описанные выше многообразные проявления римской жизни второй половины I в. сводятся, таким образом, к восприятию нового, развивающегося, жизни в ее движении как низменного, безобразного и аморального, а красоты, нравственности, исторического величия — как условной сферы, не имеющей ничего общего с повседневностью. Это восприятие имеет под собой историческую почву.

Ко времени Флавиев оба процесса, составляющих социально-политическое содержание империи I века: 1) ликвидация бесконтрольного господства римской олигархии над провинциями, эксплуатируемыми хищнически и исключительно в интересах центра, и 2) изменение государственного строя с целью ограничения власти наследственной аристократии города Рима — оба эти процесса в реальной истории близились к своему завершению, идеологические же и нравственные критерии их оценки, господствовавшие в мировоззрении правящего слоя, были неадекватны самому процессу и связаны с изживаемой — но пока еще единственной наличной — «ромоцентристской» системой взглядов.

Подлинная власть все больше сосредоточивается в руках назначаемых императорами прокураторов и префектов, власть сената никнет, год от года падает политическое значение старых сенатских магистратур. Но общественный престиж этих институтов не только не сокращается, а как будто даже и растет. Первое, о чем заботится пришедший к власти император, — вознаградить своих помощников сенаторскими званиями (Тас., Hist. II, 82) и консульскими должностями (там же, 71). Патрициат потерял всякий жизненный смысл, но именно Веспасиан и Тит возводят в патриции больше своих сторонников чем Август или Клавдий⁵⁹. Древние жреческие коллегии отправляют культы, в которые уже почти никто не верит, и возносят молитвы за здоровье принцепса, кто бы он ни был и что бы он ни делал; участие в их деятельности — чистая дань музейному ритуалу. И, однако, вся верхушка сената стремится любой ценой попасть в число квиндецимвиров *sacris faciundis*⁶⁰, а жреческая должность, занимавшаяся покойным, выписывается в эпитафии на почетном месте.

Можно ли сомневаться в том, что общество, описанное Марциалом и Ювеналом, испытывало мало почтения к старинному благочестию и суровой нравственности в духе предков? Но стремясь к укреплению общественной морали и идейной консолидации рабовладельцев, Домициан последовательней и упорней всех других принцепсов I века использовал для этой цели возрождение старинных традиций и отправление древних обрядов (Suet., Dom. 8). А Домициан был трезвый и искушенный политик, и если он проводил подобную линию, значит он знал, что исконно римские обычаи и заветы республиканской старины, дискредитированные в практической сфере, сохраняют свое значение идеальной нормы для многих и многих его современников. Девальвирующееся все больше звание римского гражданина сохраняет свой престиж и не только потому, что оно дает практические преимущества, но и по идеальным соображениям, — взывая к чести и чувству долга легионеров, полководец прежде всего напоминает им, что они римские граждане (Тас., Hist. IV, 58).

⁵⁹ M. Hammond, Composition of the Senate A. D. 68—235, JRS, 47 (1957), стр. 75.

⁶⁰ R. Syme, Tacitus, II, Oxf., 1958, app. 22.

В этом расхождении между реальным содержанием исторического процесса и его идеологической, нравственной, социально-психологической санкцией заключены непосредственные причины духовного кризиса верхних слоев римского общества флавийской эпохи, выразившегося, в частности, в борьбе сенатских группировок в 60—90-е годы.

Почему императоры, ясно понимая, что люди меньшинства — их опора во враждебном им сенате, периодически отталкивают их от себя? Потому что эти люди, *audaces, callidi* и *prompti*, выдавали *конечный* исторический смысл императорского режима — ликвидацию им римской исключительности, а вместе с ней — староримских общественных традиций и моральных воззрений. Но других традиций и воззрений не было, а править вопреки этим — исчезающим день ото дня, но еще имеющим корни в хозяйственной структуре общества и народном сознании, еще единственным наличным, сохраняющим значение некоторого образца — было невозможно. Без них, без ореола *mos maiorum*, принципат превратился бы, даже в глазах самих императоров, в царство политического дефакто, цинического нигилизма, кровавого распутства и универсального зла, а при таком положении режим существовать не мог. И Нерон выдает большинству Суллия Руфа, Антистия Созиана, Сагитту; Гальба — Клодия Макра и Петрония Турпилиана; Отон соглашается на убийство Офония Тигеллина — не сенатора, но имевшего решающее влияние на сенатские дела; при Веспасиане гибнут Эприй Марцелл и Цецина Алиен; при Домициане — Арредин Клемент и многие другие. Поэтому же императоры упорно сохраняют консервативную, квазиреспубликанскую фикцию своего режима, пропагандируют старину, берут под контроль распространение неримских религиозных культов, ограничивают допуск в сенат не-италиков. И поэтому же они время от времени солидаризируются с сенатским большинством, так как за ним смутно маячат история, традиция, ореол *populi senatusque Romani* — все то, что обеспечивает хоть какое-то сознание нравственной ответственности перед общественным целым, хоть какое-то выполнение людьми своего долга, то, без чего империя не имеет духовного права на законное существование и остается узурпацией. Нерон отчитывается перед сенатом в деле Пизона, Отон внушает преторианцам, что «неколебимо стоит Рим, мир царит в мире, и мы с вами живы до тех пор, пока цел и невредим сенат» (Тас., *Hist.* I, 84), Вителлий ссылается на Тразею как на образец сенатора (там же, II, 91), Веспасиан плачет оттого, что вынужден спориться с Гельвидием (Dio Cass., 65, 12, 1), Домициан, будучи 12 лет цензором *sine collega*, не решается радикально изменить состав сенатского большинства, и все они считают себя принципсами лишь после того, как их утвердил сенат.

Ценность, однако, не может сколько-нибудь долго сохранять значение ценности вопреки поступательному движению истории. А развитие ее шло в сторону ликвидации римской исключительности не только в жизни, но и в идеологии, *mos maiorum, pietas* и *virtus* на глазах превращались в мертвую догму, а связанные с ней люди большинства — в политических доктринеров, «вечно мрачных, как дядька, приставленный к школьнику» (Suet., *Nero* 37). Связь режима с этими людьми выдавала его компромиссное, узко римское происхождение, вплоть до Флавиев бывшее памятным и дававшее себя знать, грозила представить его консервативным, не вменяющим велениям времени и развития, нежизнеспособным. И принципсы снова поддерживают людей меньшинства, опираются на них, через них терроризируют и уничтожают носителей традиции, без которой не могут править.

В самом общем смысле это положение сохраняется до массового распространения христианства и полного вытеснения им, даже в социальных вер-

хах, староримских понятий о правильном и ценном — еще готские короли страстно домогались звания римских консулов. Но в этом движении от одной системы ценностей к другой выделяется ряд этапов, и переход от Флавиев к Антонинам знаменует окончание самого раннего и самого напряженного из них.

«MULTI BONIQUE» AND «PAUCI ET VALIDI»
IN THE ROMAN SENATE UNDER NERO AND THE FLAVIANS

by G. S. Knabe

Ancient writers characterise the Roman Senate under Nero and the Flavians as a field of constant furious clashes between two groups of senators. Tacitus opposes them as «majority» and «minority»: *hinc multi bonique, inde pauci et validi* (*Hist.* IV, 43). The conflict is usually discussed by modern scholars on a purely social and/or political plane; the author of the present article attempts to analyse its social and political essence not merely as such but primarily in its human, psychological and moral, aspect. It appears that the *pauci et validi* and the *multi bonique* correspond to two clearcut opposite human types, the first being characterised as *audax, callidus, promptus*, the second as adhering to the moral system based on the notions of *mos maiorum, pietas, virtus*. The author analyses the links between the opposition *multi bonique* — *pauci et validi* and the opposition *boni* — *audaces* which was proper to the late Republic.

Analysis shows that in social opinion and in the philosophy and art of Neronian and Flavian Rome the *audax*-type was associated with the political practice of the emperors and with the idea of the progressive destruction of traditional social and moral values, hence with the principle of evil, which was regarded as an inherent characteristic of any historical progress. In the same period the *mos maiorum-pietas-virtus* system, associated with the senatorial tradition, is more and more plainly seen as connected with conservative moral values, as alien to any progress, any movement of reality and life, hence as a form of death. The conflict between the two groups of senators thus appears as a concentrated expression of the general moral crisis of the Flavian epoch, which grows more and more acute towards the end of this epoch. Both main traditional value systems, maintained over the centuries in Roman social thinking — the one representing moral conservatism, the other the development of the state — proved to be equally empty and unsatisfactory: development and movement appear as a form of destruction and evil, morality as a form of conservatism, stagnation and death.

Discussing the reasons for this crisis, the author dwells on the double character of the Flavian regime. By the end of this period the transformation of the ancient city-state into a world empire was politically and socially almost completed, yet moral and psychological norms were still deeply rooted in the old «Romocentric» system of values. In these circumstances all that was sound from the point of view of politics and practical life seemed morally inadmissible, while everything connected with traditional moral precepts (and they were the only ones there were) and with the historical, religious and political splendour of the *Senatus Populusque Romanus* seemed inadmissible from the standpoint of politics and practical life. This contradiction determined the inadequacy of both groups of senators, the behaviour of the princeps towards the Senate, and also many of the specific features of Roman social life, art and politics at that time. It is this contradiction which finally undermined the Flavian regime, and its elimination under the Antonines marks the end of the transition from the Republic of the City of Rome to the universal *Imperium Romanum*.